

титься до «храма славы», то и выходитъ, разумѣется, что арена «высшей умственной и эстетической дѣятельности» человѣчества—увы! превращается въ такую же арену *«bellum omnium contra omnes»*, какъ и *ici—bas*, въ низшей сферѣ человѣческихъ интересовъ, какъ и во всемъ животномъ мірѣ и такъ же говорять какъ бы другъ другу по внушению дарвинова закона и тамъ и здѣсь: *«t’te toi de là pour que je t’y mette!...»* Печальная, но хорошо знакомая и старая, къ несчастью, картина! .. А мы, смотря на нее сестороны, не только не замѣчаемъ диссонанса, но даже стараемся и хлопочемъ придать ей лучшее освѣщеніе!

Всѣмъ намъ памятна та страшная, почти невѣроятная, на первый взглядъ, картина, которую нарисовалъ гр. Толстой въ своей «исповѣди», выставивъ публично на видъ то обстоятельство, что, очутившись, по прїездѣ въ Петербургъ, въ писательскомъ кругу и усвоивая себѣ «писательскіе взгляды», въ немъ совершенно изгладились всѣ его прежнія попытки «сдѣлаться лучше», что вообще, не этому стремленію своему онъ встрѣтилъ здѣсь поддержку, а своей нравственной «распущенности». «Взгляды эти, говорить онъ, подъ распущеность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли,—а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы—художники, поэты. Наше призваніе—учить людей, не зная чemu: художникъ, де, и поэтъ учать безсознательно...»

На второй уже годъ гр. Толстой сталъ однако сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что «жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою: они спорили,ссорились, бралились, обманывали, плутовали другъ противъ друга, много было между ними и незаботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ,